

Жданов Л. Г.

**ВЕНЧАННЫЕ
ЗАТВОРНИЦЫ**

Лев Жданов

Венчанные затворницы

«Алгоритм»

1907

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Жданов Л. Г.

Венчанные затворницы / Л. Г. Жданов — «Алгоритм», 1907

ISBN 978-5-501-00210-4

Лев Григорьевич Жданов (настоящие имя и фамилия Леон Германович Гельман; 1864–1951), российский исторический писатель; был также известен как поэт и драматург. На рубеже XIX и XX веков среди исторических романистов, пожалуй, не было имени более популярного, чем Лев Жданов. Он автор целого ряда романов и повестей, посвященных, как правило, малоизвестным страницам истории России. События романа «Венчанные затворницы» начинаются в 1547 году, когда семнадцатилетний Иван Васильевич, будущий Иван Грозный, венчаясь на царство, из многих претенденток, собранных со всей Руси, выбирает себе в жены дочь боярина Захарьина-Кошкина – Анастасию. Нелегкая ей выпала доля: смиряясь с буйным характером супруга и его бесконечными изменами, она полностью растворяется в своих детях, став затворницей в собственном доме. После смерти Анастасии подобная участь постигла и его вторую жену Кученей Темрюковну, по венчании – Марию.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-501-00210-4

© Жданов Л. Г., 1907

© Алгоритм, 1907

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Лев Жданов

Венчаные затворницы

Часть первая

Весна в теремах

I

На необозримое пространство расстилаются-зеленеют поля, луга и леса, окружающие стольный град Москву, «третий Рим нерушимый», как величает его нередко сам юный царь и великий князь Московский, Иван Васильевич IV, всея Руси.

Молод государь, шестнадцать еще не минуло, а по виду, по стану, по взгляду пытливого – много больше можно дать венчанному отроку. Правда, немало и горя вынес он за свою недолгую жизнь, особенно за последние семь-восемь лет, когда схоронил Иван государыню-мать, великую княгиню Елену. И сильному духом человеку взрослому иные дни, пережитые ребенком-царем, за годы показались бы. А Иван целые долгие годы, день за днем, выносил и угрозы, и унижения, и обиды, даже до страха смерти...

Тяжело было. Но юность все одолела, со всем справилась.

Исполнилось Ивану 15 лет, пришло совершеннолетие царское, как и покойный отец завещал. Теперь боярам-правителям волей-неволей, а надо было признать юношу властелином, снять с него опеку, приходилось отныне его именем все делать; приговоры, дела и указы – за его подписью выпускать.

Иван IV вот уже около года лично вступил в правление, ведает все дела земские и государские... на словах, конечно. Так же как ведали их бояре-правители. Они только старались изо всего извлечь побольше выгод для себя. А всеобщее дело в государстве шло как машина огромная, пущенная в ход еще дедом царя, Иваном III.

Правда, за полвека работы состарилась машина, порасшаталась немного, кое-где заржавела; скрепы в ней ослабели, колеса иные повизгивают... Да и надстроено было немало за последние годы жизни царя Василия Ивановича. Много новых земель, городов завоевано, немало новых порядков заведено. Не совсем даже иные части постройки государственной соответствуют одна другой. Но еще хорошо работают гладко отлитые, крепко окованные колеса и шестерни механизма. Одно только новое, могучее колесо в машине сейчас работает: это личная воля юноши-царя. Воля, порою неукротимо дикая! Но она больше пустых, неважных, ребяческих вещей касается. И тонет новый, такой властный, молодой голос в том шуме и шорохе, который издают все части государственного механизма, вплоть до последней мелкой цевки, до мужичка-оратая включительно... До той самой цевки, из которой создана прочная основа земли русской, великого Московского царства.

II

Рано проснулся царь-отрок Иван Васильевич. Молодой спальник Алексей Адашев, которому по череду пришлось в царской опочивальне спать, с рассветом уже поднялся, сторожил пробуждение царя.

У спальника все, что следует, приготовлено. Омылся свежей водою царь, одеваться стал, только прежде другого спальника, племянника своего, князя Ивана Федоровича Мстиславского, к бабке, княгине Анне, со здраваньем отослал.

– А што, Алеша, – обратился Иван к Адашеву, обувавшему в эту минуту царя, – после думных трудов, после докладов боярских на полеванье нам с тобой не поехать ли поблизу куда?

– Как повелишь, осударь.

– Ну, так скажи псарям сготовиться... Копчика мне под седло. Того, что от салтана в дар прислан... Стой, кольчуга чтой-то мулит в поясу!

И царь с помощью Адашева распустил широкий панцирный, тонкий, но превосходно закаленный пояс, которым была стянута миланская, дивной работы, кольчуга, надетая у него прямо поверх полотняной рубахи.

Этой надежной защиты не снимал с себя юный царь ни днем ни ночью.

– Спасибо за дар дуку медиоланскому! – шевеля колечками стальными, тонкими, как кружевное плетение, с горькой усмешкой заметил Иван. – Поправил сзади? Ладно. Добро теперь. Вот погляди... Это и есть они, царские вериги мои, – теребя кольчугу и пояс, живо заговорил отрок, всегда охотно делившийся мыслями, если видел, что не враг перед ним. – Видишь: ни день ни ночь не сымаю тяготы такой. Не хуже схимника инога, веригоносящего праведника! Я царь Московский, владыка стольких земель, стольких тронов земных! Так поменьше брови своди, когда я сердцу моему волю даю порою. Ежели что и погрешу – за подвиг мой тайный, неведомый, за тяготы несение, – отпустит Господь многие прегрешения. А, как мыслишь?

– Думаю, осударь.

– «Думаю, осударь!»! А сам в сторону быком воззрился. Не больно, видно, сголошаешься со мною...

– Смею ли я, осударь?

– «Смею ль, сумею ль?..»! Эх, ты! Видно, тоже лукавить подучился во дворце моем. А мне ты только за правду твою и люб. Помни.

– Я неизменчив в худом, што и в добром, осударь. Вся моя службишка холопская перед очами твоими.

– Ну, ладно. Вижу, верю. Вот и знай: как на плоти грешной вериги у меня, так и душа вся в цепях. Словно жернов оселский на ней. Грудь так и завалило. О чем не думно, чего желаю – нету тово. Как хочу на полной своей волюшке жить – не мочно мне! А если б... Эх, и тоски бы в те поры никакой я бы не знавал! И не обидел бы я ни души единой. Не дурил бы я так, ровно с цепи сорвался да несется без пути аргамак степной. Тоска... Уразумей, Алеша! Меня, царя, владыку вашего, тоска, змея лютая, так и гложет! Напущено ли это от врагов, что обступили мой трон кругом? Так ли само сердце мечется? Только места я, покою себе не сыщу. Сердцу отдых дать бы... Простору мне мало. Куды-то тянет душу... И то творю в ину пору...

Замолк внезапно, не досказал Иван. Не могут, не умеют уста его в чем-либо постыдном сознаваться. И протопопам благовещенским, духовникам своим, на исповеди, кидает он одно короткое, властное:

– Во всем грешен!

А много не говорит с ними.

Тут же, хотя и полюбил царь спальника своего, все ж таки раб, холоп перед ним, да и летами почти погодок, ровня. Пусть будет и тем доволен, что услышал.

Но, помолчав, снова заговорил словоохотливый, одаренный пылкой душою и мечтательный юный царь:

– А знаешь, как оно хорошо да ладно было бы: всех врагов извести... На покое пожить, хоть малость. Штобы можно было и жалеть людей, и приглубить кого... И не трепетать измены али чар бесовских, царю на пагубу пущенных! Сколь хорошо бы... Пойми: никого не бояться! В постелю спать ложиться – без обороны без энтой, без панциря. Так, вольным телом, на ложе ли

своем на пуховом пораскинуться, в лесу ли, на траве ли упасть на муравчатой, на зеленой... на духовитой... и спать, спать сколько хочешь! Спать – снов не видать, тех тяжких, томительных, что в ночь за полночь меня томят... вставать не велят, грудь давят. И сижу на ложе, и слушаю. Ты дышишь во сне... ровно, спокойно таково. Мышь грызется где-то. Шаги по переходам: дозорные, над быть, бродят... А все же страх берет, жуть на меня набегают, Алеша! И сам не знаю с чего. И своих многих дел страшусь... И те мне порою чудятся, кого казнить доводится. Всего, всего-то страшно.

Словно сейчас переживая в душе ночные страхи свои, побледнел Иван, нервно плечи задергались, грудь ходуном заходила, забежали непроизвольно глаза...

Адашев очень не любил таких минут у Ивана. Уговаривать, спорить с юношей, хотя бы и для его собственной пользы, – это всегда оказывалось бесполезно. В отроче, словно демон какой, просыпался злобный, упорный дух противоречия. Только если удавалось незаметно навести его на известную мысль, вызвать известное желание, как будто бы оно самостоятельно зародилось в уме, в душе царя, – тогда он все исполнял, чего хотелось бы добрым советникам, Макарию, Адашеву, оберегавшим Ивана от полного одичания...

И сейчас Адашев ни звуком не отозвался на речи государя, измышляя, чем бы отвлечь в другую сторону его мрачные мысли. Такое настроение в Иване нередко завершалось припадками черной немочи, с четырех лет овладевшей ребенком.

Неожиданно за дверью опочивальни раздался тоненький, словно бабий, голос:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..

Это проговорил обычную входную молитву Юрий, младший брат царя, мальчик лет четырнадцати, очень толстый, но приземистый, а по уму совсем недоразвитый ребенок.

– Аминь! – ответил на голос брата Иван, давая этим разрешение войти.

Адашев, обрадованный появлением царевича, подоспевшего вовремя, до земли ударил ему челом, едва отрок показался в опочивальне.

– Добр-здоров ли, брате милый! – ласково отвечая поклоном на глубокий поклон брата, заговорил первым царь. Одной рукой привлек поближе Юрия и поцеловал его.

– Как тебя, брата-осударя, Господь Бог хранит? – вторично кланяясь, пропищал Юрий, хорошо вышколенный дядьками в отношении дворцовых обычаев. – Ты жив-здоров был бы, а нам, холопам твоим, што деется? Челом бью на здорованье осударю мому, брату старшему!

И в третий раз склонился чуть не вдвое толстый мальчик, пыхтя и тяжело затем выпрямляясь.

– Ну, буде маяться. Раскачался, долу клонишься, словно верба плакучая... Повидать пришел али за делом за каким? – нетерпеливо заметил Иван.

Он заботливо, нежно относился к брату, жалея слабоумного. Но все-таки не очень выдавал эту самую любовь и жалость, чтобы «не распустился больно дура-Юра, боров жирный», как звал он шутя брата.

– С челобитьишком, вестимо, осударь-братец... На ловы собираюсь, на полевые, на рыбные. Денек-то во какой... Светло, тепло. Дозволишь ли, осударь? С небольшой я челядью... Так, поблизу.

– Ловы? Ну, поезжай, – отвечал Иван. – С собой не беру тебя нынче. Нудно мне с тобою... Да и не пара мы на ловах... Сбирайся, с Богом. Дядьке скажи, да стремянным твоим, да ловильщикам, которые едут, что не позволил я забираться далеко от Москвы. Не дале Воробьевых.

– Попамятую, осударь! А еще просьбишка... Уж потешь братишку-то свою молодшего, – совсем по-детски, с умильным лицом затянул Юрий, видя, что брат ласков нынче.

– Выкладывай уж, да поскорейча. Видишь, готов, одет я. За дела пора приниматься за государские. Молиться тоже надо...

– Мигом скажу, братичек. Пустяковинки и загадываю. Зверка тебе из Царьграда, от патриарха, прислано... Таково ли забавен, шельмец: ровно люди, лапами все берет и жрет, а то за щеку прячет... Подари, осударь, пожалуй.

И снова поклонился.

– Это обезьянку мою новую облюбовал? Да к чему тебе? Мало, што ли, своих есть зверей потешных?

– Да уж больно забавна эта... аблизьянка-то. Я ее в красный кафтанчик наряжу. За столы брать стану. Спущу: она у гостей, у бояр бородатых, станет куски рвать из рук, за щеку прятать... А те ругаться начнут. То-то забава пойдет...

И Юрий засмеялся от души, так же пискливо хохоча, как и говорил.

– А, бери! – невольно улыбаясь, сказал Иван. – Да ну, не кланяйся, ступай со Христом! – торопливо остановил он ошчастливленного брата, собиравшегося опять бить поклоны и высказать благодарность за желанный подарок.

Когда Юрий вышел из опочивальни, отвеся последний поклон, царь, оправляя кушак на богатом кафтане, который был подан и одет на него Адашевым, заметил:

– Шибко уж озорничать стал Юрка... И так-то он не больно умен, а с ловами его, гляди, и вовсе... Что ни как, а жаль семени царского.

– Истинно, осударь... Пора женить царевича. Молоденек, оно слова нет. Так кровь-то в нем не наша, холопья... Ваша, осударская кровь на все про все скорее зреет.

– Женить? Только и знаешь одно. Недаром тебя самого так рано окрутили. И товарищ ты мне плохой из-за женитьбы твоей глупой. Где бы удали дать разойтись, а тебя к жене тянет. Краснеешь, соромишься, ровно затворница, от слова лишнего, от молодецкой повадки вольной... Чтой-то батьке твоему приспичило так рано окрутить молодца?

– Отец ему духовный, Сильвестр-протопоп, порадел. Толковал вишь, осударь, што от Бога так положено! Мужеску полу без женска не быть... Так и жени, мол, скорее. Греху, соблазну будет меней...

– Ино, што и так... – раздумчиво отозвался Иван.

– Да ошшо толковал батько отцу мому, – гораздо живее и внушительнее прежнего подхватил Адашев, видя влияние своих речей, – ошшо баял: «Скорее парня оженить – раньше добра видать. Деток повыведет. Будет про кого стараться, тружиться, добро преумножать. Дом возвеличит, гляди, а не расточит. Хошь и не царское наследие у вас, что загодя надо готовить преемника, а все же гнездо»...

Серьезно выглядит сейчас Алексей. Голос звучит так властно, торжественно, словно врезаться желает в слух и в душу юного царя.

Тот совсем задумался на мгновение.

– Сильвестр? – протяжно произнес он затем. – Да откуль ты ево знаешь?

– Из наших он краев, новгородчанин...

– Вот и брат Владимир ево хвалил же... Сказывает: святой жизни старец... Да я и сам примечал: хороший он поп. Не шатун, не бражник... На иных не похож. Хошь бы Федорку взять Бармина, батьку духовного мово. Гм... Надоть ощупать попика. Може, и мне понадобится, ежели иным-прочим так угодил. А я не одних скоморохов, гудошников, лизоблюдов, чревоугодников жаловать умею. И добрых, изрядных людей круг себя видеть желал бы. Да штой-то мало таких! Што вот впереди будут? Поживем-повидим.

И замолк Иван.

Вдруг тишина в покое была прервана резким криком:

– Да приидет царствие Твое!

Это выкрикнул говорящий попугай, присланный в дар от того же патриарха константинопольского и читавший всю Господню молитву.

Улыбнулся Иван.

– Придет... да не сразу, поди! – сказал он, подходя к клетке, чтобы приласкать умную птицу.

И вдруг, меняя вид и тон, обратился к Адашеву:

– А знаешь, немало бы я дал, кабы привелось мне на свадьбе на твоей в дружках там али в сватах быть. Поглядеть бы, как ты там со своей молодкою первую песенку, зардевшись, пел!

И Иван несдержанно захохотал от воображаемой забавной картины. Щеки вспыхнули у него, глаза засверкали.

Покраснел и Адашев, только иначе. Склонил он голову, потупил глаза.

– А слышь, сказывали мне: красива твоя женка. Што, какова она? – не унимался властелин, словно забавляясь смущением слуги своего – человека, никогда ни перед кем не опускавшего глаз. Наоборот, когда все кругом видимо не выносили пытливого, тяжелого взора, каким пронизывал царь собеседников, – перед горящими темными глазами Адашева потуплялись нередко против воли большие, иссера-голубые, холодным блеском сверкающие глаза самого Ивана. – Как звать-то ее? – продолжал допытываться Иван. – Стройна, больно пригожа?

– Настасьей жену звать, осударь, – вдруг, овладев собой, поднимая голову, ответил спокойно Адашев. – Мне белого свету, всей жизни она милее. А там как сказать, красавица аль нет, не ведаю, того не знаю, осударь, и сказать не могу...

Твердо, задушевным, глубоким голосом проговорил свой ответ Адашев. Смело глядит в глаза отроку-повелителю, словно отыскать и вырвать из души у него хочет неясные, дурные помыслы, налетевшие на Ивана.

И сразу погас тревожный румянец щек, маслянистый блеск глаз у отрока. Словно снова подменили его. Побледнело лицо, такое доброе, простое стало. Мягко заговорил он:

– Ладно. Кроешься... Боязно, штоб не отбили? А я вот и загляну к тебе нынче же. На гнездо на твое погляжу. Поучусь... Юру ранней меня, брательника старшого, женить невместно. Може, на твой уют глядя, и меня потянет? Тогда и «борова» мово окрочу... Слышь, после стола первого к тебе заглянем. Полевань не сряжай, не надо. Только мотри: попросту принимай, без затей... Не царь у тебя в гостях будет, а так... парнишка молодой. Хочу я цареванье мое избыть, позабыть на малый час. Тяжко с ним, вот не хуже, чем с веригами этими кольчужными. Легки, защитливы да и наскучливы зело. По себе хочу быть хошь часочек. Без бояр, просто без челяди. И у тебя штоб про царя ничего не знали и не поминали. Слышь? Гостем быть хочу.

– Слышу, осударь. Разумею. Да и силы-достатку мово не хватило бы царя достойно встретить, владыку мово. А все же помилуй, не снимай головы у меня и у хозяйки моей. Дай ей хоша к простым гостям изготовиться. При тебе послать дозволю. Ну, так скажем: упрежу Настю, что гость из Новагорода нынче жалует. А то ведь...

– Ин так... Знаю, знаю. В грязь лицом ударить боишься. Медов твоих, яствий али прибору не видал я? То-то, поди, заваруху там подымут? Сундуки, укладки раскроют... Наряды, ковры, узорочье, серебро да золото... Што ни есть в печи, все на стол мечи. Ин будь по-твоему! При мне лишь спосылай. Не хочу обездолить тебя. Покажи, чем тебя родитель наградил. Моих еще мало даров у тебя. Не тужи, будут. А теперя лоб перекрестить да к казначею мому верному, к Володьке Головину, выглянуть пора. И то, слышь, давно он в соседней горнице сопит, толчется. И ошшо с ним кто-то...

– Осударь великий князь Володимир Андреевич, – подсказал Адашев, успевший выглянуть в соседнюю комнату.

Иван между тем, обернувшись к переднему углу, где был устроен небольшой киот с иконами в драгоценных, золотых окладах, залитых самоцветами, совершил краткую молитву, осеняя грудь, и лоб, и плечи широким, истовым крестом. Сотворив несколько земных поклонов, он достал нательный крест на гайтане, благословение еще отца покойного, с частицами свя-

тых мощей, приложился, опять осенил себя крестным знамением и быстрым своим, тяжелым шагом переступил порог невысокой, сводчатой двери, раскрытой рукой Адашева.

III

Хорошо начитанный по своему времени, пылкий по природе, мечтатель по душе, Иван IV далеко не доволен тем, что видит и слышит вокруг. Но до времени он таит свои думы, замыслы смелые... Редко с кем и толкует по душе. Разве что с добрым, умным митрополитом-стариком, с Макарием. Из юных сверстников самолюбивый, недоверчивый царь одному любимцу недавнему, скромному, богомольному Алексею Адашеву изредка только и поверяет кое-что. А больше все глядит вдаль из окон дворцовых да думает... О чем? Бог весть. И дворец красивый, белокаменный, недавно, почти перед смертью, отцом Ивана построенный, затихнул, стоит, словно помешать боится думам отрока.

Немного дней прошло, как затих дворец. Чуть только занялся сгоряча Иван делами царскими, начал доклады бояр, дьяков приказных принимать, реже стал он ночью и днем бесчинствовать, бражничать, скоморохов и дворню женскую собирать... Тут и дворец затих. Хотя не совсем. Нет-нет да подымется шум и гомон порою, словно метель заметет среди тихих, вешних дней, какие стоят на дворе.

Бубны загремят, домры зазвонят, песни разудалые, соромные так и польются, вместе с медами, с вином, с наливками крепкими. И льются всю ночь напролет, а то и двое-трое суток подряд. Богатырь не по летам, юноша и силы свои тратит богатырские нерасчетливо, без раздумья...

Стены дрожат, пол ходуном ходит. Воздух полон кликов и гомона. Сквозь окна во дворы, в сады дворцовые шум пиров вырывается. А если во дворцах летних, пригородных, в Воробьевском, в Коломенском веселье идет – леса соседние на раскаты смеха, на дикие пьяные вопли звонким эхом так и откликаются... Порою жалобный стон пререзает общую ноту веселого гомона. Устав просто веселиться и бесчинствовать, Иван затевает порой разные игры кровавые, жестокие... Заставляет псарей своих или тяглых людей с медведями, с цепными псами медиоланскими на борьбу выступать: кто одолеет? И воют жалобно звери, падая с раскроенным черепом; стонут визгливо, как звери, жалкие люди, измятые, истерзанные когтями и зубами четвероногих противников. А юный Иван хохочет-заливается. Тешит его забава такая кровавая.

Да, не всегда тишина стоит во дворцах, в садах и на дворах у великого князя Московского и царя всея Руси.

Только в одной части дворца Кремлевского мир, тишина и покой царит ненарушимый – в теремах высоких, где княгиня Елена жила, а теперь поселилась бабка царя, княгиня Анна Глинских, чтобы дом царский совсем не сиротел, без хозяйки не стоял.

В самой глубине Кремля, позади лицевых построек дворцовых, затерян среди дворов и садов внутренних, стоит женский терем великокняжеский. К Куретным воротам¹ он подошел, но и от них стеной и частоколом огражден. Только одно широкое крыльцо сюда выходит, через которое в терема проникнуть можно. Крыльцо это в большую высокую Переднюю палату ведет. А от нее целый лабиринт сеней, крылечек и переходов крытых и полуоткрытых позволяет сообщаться с тем городком, который носит название Теремов царских. Большие срубы и здания с парадными палатами царицы и царевен, небольшие жилые избы, рабочие светлицы, аршин по 20–25 в длину, покои под крышей со светелками, повалуши, кухни, черные, людские жилья, амбары, подвалы, коровники, хлева и конюшни, и чего-чего тут нет. А в середине – большая палата, Крестовая, царицына. И церковь своя близко: во имя Великомученицы Ека-

¹ Теперь это Троицкие ворота.

терины. Рядом – Троицкое подворье, еще ближе – Патриарший двор. Собор Успенский – за стеною, на площади ближней. Кругом святыни: храмы, монастыри, подворья монастырские. И таким же монастырем стоит, обителью тихой выглядит теремной городок цариц московских, сиротеющий сейчас. Сюда не долетает соблазнительный шум веселых, бесчинных пиров царя, отклик охот и забав жестоких, за которые зачастую кровью и жизнью платятся холопы вместе с боярами.

До свету встают здесь, молятся, за работу садятся. Опять молятся, вкушают пищу в полдень, молча, степенно, словно справляют священнодействие. А монахиня-чтица, как и в заправском монастыре, тут же сидит в стороне от столов, из святых, назидательных книг читает, что на какой день приходится.

Тихо жизнь в теремах идет, словно в царстве каком замороженном, заколдованном. Разве только шепотом вести туда передаются застенные. Отголоски жизни кипучей сюда, как на дно моря глубокого, невнятно доходят. Так и лучи солнца, ярко озаряя гребни волн, зеленоватым, неверным, слабым отблеском разливаются вниз, под воду...

Мужской речи, мужского облика почти и не видно в теремах. Разве старики сюда допускаются или дети, ребята голоусые. Двигутся все здесь неслышно, степенно, опустивши глаза, отдают поклоны при встрече, и идет каждый дальше за своим делом.

На поварнях у скотных дворов теремных пошумнее, голоса слышны, работа идет гулкая... В садах и на огородах работницы порой песню стройно выводят, но все-таки с опаской: не побранили бы за лишнее веселье!

Тихо, скучно в теремах царских жизнь идет-тянется... Правда, старуха-княгиня хозяйской здесь теперь. Нездорова все она; Богу только молится, со своими двумя лекарями-иноземцами снадобья готовит, себя лечит, другим помогает, кто захворает из боярынь или из дворни близкой. Но будет и молодая царица у царя – немногим иначе пойдет жизнь в теремах золоченых государя Московского. Веками выработался здесь особый склад и лад. Светским, мирским монастырем выглядит терем. Так он и должен быть.

Ночь спускается, теплая, влажная, майская... Мужние жены из мастерских царских домов в слободку свою особую, Хамовную, так называемую, побрели... Там семья ждет, муж, дети... А живущие в теремах девушки сенные и мастерицы разные улеглись по клетушкам своим... Тихо светит месяц, озаряя высокие стены теремов, высокий частокол, ограждающий сад... Собаки где-то лают далеко, на пригородах... Петухи звонко, протяжно поют, полночь повещают...

Чу! Где-то в било ударили... В другом месте отозвались, подхватили... Переключка пошла: сторожа знать дают, что не спят. Старые все больше сторожа. Дремут, гляди, а сами сквозь сон в било побрякивают... На стенах кремлевских, которые неясными очертаниями темнеют в прозрачной голубоватой мгле вешней лунной ночи, – там тоже переключка пошла:

– Слу-ша-аа-ай... Тверь...

– Не дремай!.. Мос-кваааа!..

Но стены далеко. Не видно на них даже этих часовых-воинов. Голоса только, сильные мужские голоса будят тишь ночную...

Словно в сказочном сне стоят терема, тихие, темные, навеки замолкшие.

Чуть солнце блеснет, едва утро проглянет – жизнь закипает в теремах опять, но тихая, беззвучная, затаенная жизнь, вся в труде и молитве.

А вокруг иная, бурливая жизнь кипит-разливается... Торг на площадях и на улицах в городе и по пригородам московским, подковой обогнувшим надежный оплот свой, стены кремлевские, высокие, до того широкие, что поверху можно телегой проехать. На Ивановской площади на кремлевской подьячие сделки вершат разные. Челядь дворцовая, которую не пускают за господами в пределы дворца царского, станом стоит, потешается, бесчинствует, драки заводит порой... У Крестца попы бесприходные, наемные с людом разным, с паствой торгуются, на

службы в церкви разные расходятся. Кони ржут и у Фроловских² ворот, где главный торг табунами ногайскими происходит. У Приказов – служилый люд, и дьяки, подьячие, и челобитчики, истцы и ответчики кучками чернеют. Зеваки сбегаются смотреть, как тут же преступников за плутни разные, за подлоги, за воровства, как тогда говорили, за бесчинства плетьюми и батогами стегают. А нередко у Лобного места иная кровавая расправа идет с злодеями земскими и государскими, предателями, убийцами, с колдунами и наговорщиками. Этих чаще всего колесуют, четвертуют или просто вешают и обезглавливают палачи в назидание и устрашение люду крещеному. А москвичи тесным кольцом обступают всегда место казни, и бабы с детьми тут же. Всем охота полюбоваться на такое сильное зрелище. Кто жалеет, кто ругает преступников... А среди голытьбы, которой немало в числе зевак, – там иные речи слышны... Озлобленные взоры сверкают... Кулаки сжимаются... Бормочут бледные уста, клятвы мести и возмездия за товарищей. Звучат глухие угрозы боярам-притеснителям, дьякам и подьячим, мшелоимцам, хабарникам... И самому Ивану много недоброго сулят. Ишь, за землей не смотрит, больше беспутством занят, чем делом своим великокняжеским.

А тут же, в этой оборванной, озлобленной, напряженной толпе, и обыщики государевы, послухи наемные, шныряют. Слова на лету подхватывают, лица бледные, исхудалые, истомленные запоминают. Злодеев в удобную минуту хватают, в приказы сыскные ведут.

Кипит жизнь сложная, земская; словно морские волны, народ переливается. И все эти волны, как у подножия могучей скалы, у высоких новых стен кремлевских и дворцовых замирают, разбиваются.

На семи холмах раскинулась Москва, в сердце земли русской, среди необозримых полей, лугов и лесов. А в середине Москвы – Кремль со дворцами высится. А в Кремле стоят укрытые терема царские, где семья царская проживает, жены, дети царей Московских ютятся, где радости семейные, утехи душевные, царские живут. И надежды земли и государей здесь кроются. Терема эти высокие совсем от внешней, грязной, неприглядной жизни отошли, в стороне стоят. Только какой-то незримой, но могучей силой терема потаенные с внешним миром связаны. И незримые нити какие-то протянуты, сильные токи идут из души у затворниц-цариц, сидящих по теремам. И влияют они на царей, великих князей московских, влияют и на всю жизнь государства.

В свою очередь жизнь бурливая, внешняя потаенными ходами изгибами и извивами, как струя свежего воздуха в отверстие подземной тюрьмы, пробивается за высокие стены, проникает в окна расписные, в двери тяжелые, сукном околоченные, чрез которые только и можно пройти в покои женской половины дворца Московского, в терема царские.

Так бывает, когда женат царь Московский и всея Руси, когда царит и правит в теремах златоверхих молодая государыня-царица.

А сейчас больная, дряхлая старуха, не матушка даже, бабка Ивана, властвует на женской половине дворцовой.

И кажется, что совсем замурованы от мира терема... Последняя струя свежего воздуха, кипучей жизни замерла в тяжелом, затхлом, стоячем воздухе теремных покоев, где пахнет так сильно травами, мазями лечебными да ладаном.

Особенно не по нутру эта мертвая тишина, этот застой могильный юному царю Ивану. Заходит, конечно, чуть не ежедневно он к бабке-княгине и «обсылается» с нею каждое утро. Боярин царский, из близких лиц, является к старице, чуть проснется она, от имени царя о здорovie пытается.

И боярыня ближняя, княгиня Анисья Великогагиных, степенно отдав поклон царскому посланцу, отвечает:

² Мясницкие теперь.

– Не больно бы ладно спала осударыня. Да теперь ништо. Хвала Господу. Как юный царь наш, солнышко красное? Добр-здоров ли живет?

Получив утвердительный ответ, боярыня шла и оповещала старуху...

Так каждый день ведется, если царь во дворце. А если нет его, гонец приезжает, нарочно за тем же посланный... Помнит юный царь, что после мамки его, Аграфены Челядниной, никто еще так не берег и не баловал по возможности заброшенного во дни опеки боярской малютку – царственного сироту, как эта кроткая, осторожная всегда старушка-бабушка... Особенно заботилась она о внуке, когда мятежные бояре в одну печальную ночь схватили и увезли в ссылку Аграфену Челяднину после того, как покончили с братом мамки царской, со всесильным раньше князем Иваном Овчиной-Телепнем-Оболенских.

Помнит все это Иван. Вот почему, против воли порой, пересилит себя, идет туда, в веющие затхлостью женские покои на половину бабки, и толкует о делах с ней; почтителен, ласков со старухой, словно бы и не он это, всегда суровый и надменный со всеми окружающими.

Особенно проявилась эта надменность с той страшной минуты, когда, по приказанию царя-отрока, псари царские зарезали, словно овцу, на одном из дворов боярина-первосоветника, князя Андрея Шуйского, больше всех угнетавшего в свое время Ивана.

Бояре, князья, весь двор словно ошеломлены были. А Иван сразу переродился. Оставил прежний робкий вид и детский тон.

Четырнадцатилетний отрок вдруг сразу почувал себя властелином над окружающими, царем и заставил всех почувствовать это очень сильно.

И только ради бабки-пестуни меняет свой нрав теперь Иван. Посещает ее, но явно неохотно. Все это видят, кроме старухи. Та вечно одно толкует:

– Ишь, побледнел, извелся как, внучек-осударик ты мой! Чай, дела все, заботы царские! Да поможет тебе Пречистая Матерь Бога нашего!

– Дела, бабуся! Дела, милая... – целуя осторожно, словно мощи, дряхлую княгиню, отвечает Иван, простится наскоро и уйдет...

Все замечается во дворце царском. И неохотные заходы царя в терем женский давно замечены, как и каждое движение, каждый взгляд государя.

IV

Покачал своей седою, умной головой митрополит Макарий, когда Адашев при Сильвестре, протопопе Благовещенском, первом друге святителя, стал говорить:

– Нет гнезда, нет семьи у царя нашего юного. Оттого, може, столько и дурости творится отроком... А будь оно по-иному?..

И не договорил молодой спальник царский, недавно лишь, при посредстве Макария, попавший в приближение и в милость к Ивану.

Немногим и старше Адашев повелителя: 20 лет всего красавцу Алексею. Смуглолицый, сухощавый, но, очевидно, сильный, мускулистый станом, он уж третий год как женат на Анастасии Сатиной, роду старинных Козельских князей, чуть не Рюриковичей. Только то колено, от которого жена Адашева идет, потеряло во дни какой-то старой опалы свое княжеское имя и звание... А все же старинный, почетный их род... Адашев незнатен. Скорей торгового роду, чем боярского. Но отец его, Федор, потомок итальянских выходцев, проживавших многие годы в Суроже, часто толковал:

– Предки мои были из тех торговых людей, владычных купцов, какие и флорентийским престолом владели, и в венецианских дворцах на тронах сиживали.

Так люди и почитали Адашевых. Особенно Макарий, митрополит, ценил Федора. Правой рукой своей его называл. Сына его старшего, Алексея, по дружбе сперва приблизил. А потом за ум, за способности, за чистую душу как родного полюбил...

Третий с ними Сильвестр-протопоп всегда. Выезжая из Новгорода, желая не одиноким быть на Москве, Макарий, недавно избранный на престол митрополичий, потянул за собой и Сильвестра, друга и приятеля своего старого. Если не умом блестящим, так примером чистой жизни, преданностью Макарию мил этот священник новому первосвятителю всея Руси. Высокий сан, поставивший кроткого, умного, образованного Макария чуть ли не наряду с самим Иваном-царем, конечно, приносил за собою много силы и почести. Но немало было завистников и врагов у каждого, кто бы ни забрался на высокое седалище первосвятителю московского.

– Враги подкопы поведут... Мне далеко будет из покоев моих митрополичьих углядеть за всеми, брат протопоп... Так ты уж подсобишь мне... упредишь, коли-ежели сведаешь что сам или чрез подружий своих...

Так говорил Макарий Сильвестру, когда звал за собой на Москву, для чего зажиточному, хозяйственному Сильвестру надо было целый обширный двор подымать – перевозить в Москву из Нижнего.

Но Сильвестр снялся и перевез. Недаром они с владыкой такие приятели давнишние. Дружба ведь по делам, не по речам верстается...

Вот отчего сейчас все трое сидят они в «казенке» у Макария, о царе юном по душе толкуют, без опасений, без осторожности вечной, с которой каждое слово следует говорить про царя вблизи дворцовых стен, таких чутких, таких сторожких, словно не из камней – из ушей людских они сложены...

Качает умной седой головой Макарий и говорит Адашеву:

– Пождем, поглядим... К тебе царь когда не собирался ли?

– Обещал побывать на днях. И под Коломной сказывал... И тут говорил... Про жену мою допрашивал. Видеть ее хочет.

Вспыхнул Адашев. Сказал бы еще что-то, да не решается.

– Не печалуйся, сын мой! – зорко поглядев в открытое лицо Алексея, убедительно заговорил Макарий, – кроме добра, ничего худа не будет. Только так все подлаживай, как мы толковали с тобой. А там – воля Божья...

– Постараюсь, отче-владыко! – тихо отозвался Адашев. – Не ведаю, слажу ль я...

– Все сладится по воле Божьей. Знаешь, видал уж не единова: все, почитай, так и выходило, как мы с тобой мерекали? А?..

– Да, кабыть што и тако...

– Ну, то-то ж. Так сам о дурном не думай – дурного не станется. Сам чистое в голове, в душе держи. С этими помыслами могучими, чистыми прямо в глаза тому гляди, кого опасешься. И руки упадут у него... Все замыслы его черные, как тучи ветром, развеются... В миг единый человек словно иной на свет народится. Может, на пагубу чужую собирался, а тут себя не пожалеет, чтобы врагу помочь... Верь мне... И себе в те часы верь, когда душу умягчить, просветить взором своим хочешь. Да уж не раз тебе и толковано! Глаз у тебя такой, что можешь ты волю всякого человека подневолить себе. Так никого не бойся! И тебя пусть не страшится, а любит тот самый человек, кого ты покорить душой собираешься! Веришь ли, чадо, что можешь творить тако по слову моему?

– Верю, отче-господине! – негромко ответил Адашев. – Верю воистину... Я вить уж так не единова и налаживал... Глазам, себе не верилось даже: вдруг гнев его на милость сменялся... Ровно кто ветром срывал с души у него тучу грозовую.

– Да штой-то вы? Про когой-то вы? Про царенка? Не пойму, в толк не возьму! – с легкой досадой вмешался Сильвестр, видя, что разговор принял какой-то загадочный оттенок.

– Про царя, друже, про него самого... Толкуем с Алешей. Видает он ежеден осударя. Так шtbody молился покрепче, когда тот гневаться задумает али что непогожее деять учнет. Алеша толкует, что пробовал молитвы читать. И помогает...

– Ну, вестимо: молитва – она всему помогает! – важно произнес протопоп, не замечая легкой дружеской снисходительности, с какою Макарий всегда обращался к своему преданному, но не очень глубокомысленному приятелю.

Затем на иные дела, на обиходные, речь перешла.

V

Обеды отошли во дворце. Обычно спят москвичи после обеда, и старые и молодые. Но Иван вообще-то мало спит. А днем – и совсем редко. Разве если ляжет на заре, после ночи угарной...

С полчаса передохнул царь после трапезы, нелюдной и скромной на этот раз. Кроме двоюродного брата царского, князя Владимира Андреевича Старицкого, красавца-юноши, тремя-четырьмя годами старше царя, за столом сидели двое дядьев царских по матери: Михайло да Юрий Васильевичи Глинские. Ели-пили застольники усердно, кроме самого Ивана. Он, очевидно, волновался, ждал чего-то, хотя и сам не отдавал себе ясного в этом отчета.

Побалагурили немного после стола. Иван поднялся, простился с гостями и, оставшись один с Адашевым, спросил:

– Кони готовы ли?

– У крыльца, осударь.

– Так едем...

Звонко стучат копытами по бревенчатой настилке бесконечных дворцовых проездов два чудесных аргамака, оседланных не по-царски, но все-таки богато, для Ивана и Адашева.

У спальника – свой конь, чудный арабский жеребец, не уступающий и царскому. Выписал для сына дорогого коня старик Адашев при помощи друзей своих, купцов восточных. Двух купил. Одного спальник царю подарил. На другом сам ездит... Этим подарком тоже немало расположил к себе Алексей повелителя. Едут оба по затихнувшему дворцовым пределам... Все почти спит теперь, до псов хортов на псарне и на поварне царской. Высоко солнышко забралось майское, вешнее, жаркое. Поди, уж и под гору скоро катиться начнет. Самая пора для отдыха всему живущему. Воробьи и те как-то сонно в пыли щебечут-возятся. Голуби вяло воркуют.

И молча едут оба спутника. Не то чтобы разморило их тоже. Но оба в думы свои погружены. Иван бог весть о чем мечтает, солнышком разогретый, воздухом вешним, ласковым обвеянный... А Адашев?.. Тот глубокую думу думает. Ссора, гляди, с царем, опала, бегство, быть может, нищета предстоит, если загорятся злые страсти в отроче, а он, Адашев, не пожелает, подобно остальным холопским душам, жену на государскую потеху отдавать.

Если же повезет, если все так сбудется, как Макарий чаёт? Высоко теперь Алексей стоит. А тогда, пожалуй, так взлетит, что оком не докинешь.

Не жажда честолюбия говорит в душе Алексея. Любит он царство Московское, новую родину его и всей семьи адашевской. Жаль ему темного простого люда русского. Много горя терпят здесь те, кто послабее... Вот таким и можно будет помочь, если... если царем по имени будет безудержный отрок Иван, а править Иваном и землю всей он, Алексей Адашев, станет... конечно, не без участия Макария, этого доброго, прозорливого старца-первосвятителя.

Вот уже оба всадника миновали задние ворота дворцовые, что выходят на пустынную площадь у Куретных ворот кремлевских. Час такой, что кишашее обычно людьми широкое пространство перед воротами в этот миг почти безлюдно. Стихла суета даже в лавчонках и пристроечках, которые, словно гнезда ласточек, прилепились вдоль всего Каменного моста, перекинутого от Куретных ворот через Неглинку для сообщения с посадами. Даже здесь, на этом торговом шляху, по виду совсем сходным с знаменитым Флорентинским мостом, сохранившимся до позднейших веков, – и здесь полдневная истома всех одолела. Торговцы, скло-

нясь над прилавками, дремлют. Ремесленники, тут же в конурах работающие, поели и прямо протянулись на отдыхе где попало, всему миру напоказ...

Справа у всадников осталось обширное, богатое Троицкое подворье... Основанное еще, как гласит предание, при святом Сергии, много претерпело оно изменений за двести лет. Теперь монастырский угол этот полон церковей богатых, строений жилых и обиходных разных. Здесь же царь Василий, вопреки обычаю, крестил царевича Юрия, отдавая его под покров святителя Сергия. Монастырской братией, проживающей на подворье, правит особый игумен.

Молятся на кресты церковей Иван и Адашев. Отвечают кивками на поклоны редким встречным людям. Не узнает никто царя в безусом, тяжеловесном юноше, который так надменно сидит на высоком седле, небрежно поводя удилами и заставляя плясать горячего коня от нажима острогранной узды – мундштука того времени... Царь всегда появляется перед народом в полужреческом наряде, в золотой парче, сверкая камнями самоцветными, залитый жемчугами, осененный шапкой – венцом царским, наследием Мономахов. Не то – в уборе сверкающем воинском видят москвичи порою царя. Кто теперь признает его? Голоусый парень верхом скачет, княжич или боярский сын... Одного знают в этом углу: Адашев, спальник осударев. У другого лицо тоже знакомо всем. Да разве сообразишь сразу? Без челяди едут... Словно дворяне какие беспоместные. И ломает шапки народ. Но больше перед Адашевым, чем перед его спутником. Это даже стало тешить Ивана.

– А, как сдается тебе, Олеша? – спрашивает он. – Крикнуть бы мне: «В землю лбами, смерды! Царя не признаете державного?» Опешат, поди? Перепугаются?

– Так ли, осударь? Сдается: не поверуют нам. Нешто когда цари Московские, хотя бы еще и не венчаные, так, в одиночку, по площади, по проулкам езживали ль?..

– Венчаные, невенчаные – все едино... Твоя правда: им, гляди, не случилось... А я, когда и увенчаюсь, своей повадки не оставлю. Особливо если врагов поизбудусь. Люблю простецов. Любо мне меж них быть, чтобы людей видеть, а не спины рабские, когда все ниц перед царем падают. А тут ошшо – вокруг меня бояр десятки. Воинов ряды. Попы сотнями. И только издали толпы народные темнеют... Так вот мне боле до души. Царь я народу, не бог земной. Хочу народ свой видеть...

Снова умолкли оба.

Миновали Симоновское подворье, церковь Входа-Иерусалимскую. По ту сторону широкой площади запестрели у высокой кремлевской стены хоромы гогуновские, чуть не на полверсты протянулись... До самой башни до угловой. А пораньше их, притулясь к двоебашенным Ризположенским воротам, раскинулся и небольшой, но усадьбистый двор Алексея Адашева. Раньше он с отцом за стеной, у Никольских ворот, проживал. Но, заняв должность спальника, ближнего человека осударева, был допущен в черту кремлевских стен, где и откупил себе уголок как раз через дорогу от подземных тюрем, от мешков каменных... Многое старым владельцем налажено было в усадьбе: сад тенистый, хоть и небольшой, с прудком, с беседками, и огородик. Кой-какие избы и жилые покои тоже пригодились. Остальное разнес, новое жилье построил Адашев и зажил домовито.

Челядинец, задремавший на скамье у ворот двора адашевского, прокинулся от топота конского, узнал хозяина, кинулся ворота растворять.

– В терему ли хозяйка али по домашнему где? – спросил Адашев дворецкого, очевидно бывшего начеку и спешившего навстречу хозяину с гостем.

– В добрый час, добро пожаловать! – земно кланяясь, ответил приветствием на вопрос сметливый, плутоватый домочадец, желая и честь высокому гостю воздать, и не показаться нескромным, если выдаст, что узнал он царя...

– Осударыня-матушка Анастасия Ивановна с гостями, боярынями и боярышнями, в сад прошли-изволили. Покликать не будет ли приказу? А у нас в столовой палате все поизготовлено...

– Гости? Боярыни? Боярышни? – живо вмешался Иван. – Вот любо. Пройдем в сад. Не зови никого...

Адашев дал знак – и дворецкий, вместе с двумя челядинцами, принимавшими коней, с глаз словно сгинули.

– Как тебе приказывать угодно, осу... то бишь гостенька дорогой. Ты здесь хозяин. Мы все – холопы твои. Вот калитка садовая...

И хозяин указал налево от дома, на калитку в дощатом заборе, которым двор отделялся от тенистого сада. По улице все владение было обнесено высоким частоколом, подбегавшим к самой стене кремлевской.

– Слышь! – у самой калитки, понижая голос, заговорил Иван. – Манилось бы мне крадком подобраться к бабьей стае. Не знали бы оне, что молодцы тут. Как на воле поведут себя? О чем толкуют? По душе, без притворства, не расписанные сурьмой да белилами. Поди, на выход такой, на соседский, не пишут лица себе? Удружи! Подкрадемся, Олеша!

– Твоя воля, осударь... Попробуем счастья! – шепнул хозяин.

VI

Адашев не побоялся последствий этой прихоти царя, так как жена была уведомлена задолго, какой гость неожиданный к ним собирается.

Посылка с вестью о новгородском приятеле была условным знаком. Умная баба знала уж, кого созвать и что готовить, когда муж из дворца о гостях повестит...

Свернули и гость и хозяин с аллеики, березками, яблоньками да кустистым крыжовником усаженной, в сторону оба кинулись, зарослью садовой пробираются, стараясь ступать полегче.

– У маличника все, поди... Прудок там и беседка. Место прохладное, жены любимое! – шепчет хозяин.

Правда, через две-три минуты, обогнув лужайку, сиренью и черемухой обсаженную, оба очутились за живой зеленой изгородью, сквозь которую видна была на небольшом насыпном холме беседка, полуоткрытая, увитая светло-зеленым молодым хмелем. И по высокой стене кремлевской, сквозившей в просветы соседних кустов, плети хмеля взбирались. За холмом сверкал прудок небольшой, загорающаяся под солнечными лучами. Лужайка зеленая огибала и холм с беседкой, и пруд с полоскавшимися в нем яркоперыми заморскими утками. Пара лебедей тут же белела в траве, словно две груды пушистого снега живого, нетающего...

В беседке, на скамьях, укрытых полавочниками суконными и коврами, перед столом, заставленным сластями всякими, сидели гости – девицы, замужние... И среди них – Настасья Адашева, добрая, ласковая на вид, восемнадцатилетняя женщина-красавица. Волосы цвета спелой пшеницы прятались под волосником и кикой, без которой не ходят замужние бабы. Лицо, белое, оживленное легким румянцем, озарялось ясными серыми глазами навывкате. Порой зрачки этих глаз расширялись непомерно, и тогда глаза казались черными. Была Адашева только в двух сорочках: нижней белой и верхней цветной, шелковой, заменявшей тогда платье женщинам. А поверх был накинут легкий летник, тоже шелковый, тканый, узорчатый... Гости были тяжелее одеты, особенно замужние: в парчовых опашнях, иные – в сложных головных уборах, унизанных драгоценностями. Девушки тоже были в летниках. На головах красовались повязки девичьи, с поднизями жемчужными, украшенные переперами – чеканными и самоцветными украшениями, которые трепетали на ножках из витой серебряной проволоки... Волосы у девушек были неприкрыты. Косы у них тяжелыми змеями спускались от затылка и на концах, у стана, заканчивались треугольными косниками, тоже золотыми, серебряными, украшенными самоцветами. Пышные кисейные, расшитые рукава нижней сорочки – рукава длиною по восемь-десять аршин, сдержанные у запястья узкой застежкой, сбегались в тысячу

сборочек на всей руке, очевидно сысподу чем-нибудь подхваченные, чтобы не свешивались через кисти рук, а вздымались волной белоснежных мелких складок.

Эти рукава были вместе с рукой пропущены в прорезы второй, «красной» сорочки, то есть платья. А рукава этого платья висели от плеча, как рукава у польских кунтушей.

Кроме двух-трех замужних тут сидело пять девушек. Два подростка, лет десяти-одиннадцати, очевидно младшие сестры, приведенные старшими, бегали по лужайке, гонялись за утками, пугали лебедей и сами пугались, когда те неожиданно взмахивали широкими крыльями, переходя с места на место.

Замужние женщины, по обычаю, были безобразно набелены, нарумянены, совсем как куклы базарные. Брови, замазанные слоем белил, были наново искусственно выведены черной и коричневой краской. Колесом темнели брови. Под глазами – тоже подрисовано... Живые куклы.

Резко выделялся при этом натуральный цвет лица хозяйки и девушек, сидевших ненакрашенными. Адашева и вообще редко размалевывала себя. Разве если знала, что придется к гостям-боярам выходить. В этих случаях считалось просто неприличным показываться со своим лицом. Девушки, прежние подруги Анастасии, шедшие к ней запросто, тоже не накрашились, как это обычно водится...

Царь так и впился глазами в молодые, красивые лица девицы.

Заметил это Адашев, зорко наблюдавший за спутником, и даже вздохнул свободнее. На краю стола, тычась носом, сидит и старуха одна, дряхлая, морщинистая, но не хуже остальных расписанная. Поела, попила и дремлет, утомленная жарою. А молодые, избавленные от докучного надзора и от старческого брюзжания, рады-радешеньки. Смеются, шутят, стрекочут. О пустых вещах, сдается, щебечут, а сами так и заалеют или вдруг бледностью переключаются, словно бы совсем не о том и думают, о чем уста их говорят...

– Слышь, Настя, гостя, толкуешь ты, приведет нынче твой-то? – спрашивает полная, рыхлая, несмотря на молодость, Алена, жена Тарха, старшего сына протопопа Сильвестра. – А кто таков? Не знаешь ли?..

Ясно доносится каждое слово к царю. Он переглянулся насмешливо с Адашевым, опять слушает.

– Не повестил меня сам-то! – отвечает хозяйка. – Только и сказано: из Новагорода... Може, сродник али так, из былых дружков какой...

– Холостой? Женатый-ли? И того не чуть? – живо спросила небольшого роста, задорная и смешливая Оля Туренина, прежняя соседка по двору Адашевых.

– Не, и того не чуть... А ты не замуж ли собираешься?..

– Куды мне! Знаешь: уже и рукобитье было... Пропил меня осударь-батюшка. Последние денечки с моей черной косой дохаживаю. Снимут скоро головушку, отымут волю девицью. Шлык-колпак напялят, как и на вас вот, не лучше.

– Чего же забегалась: холост? женат?

– Так пытаю. Поди, угощать гостя позовут. И мы бы вышли... целовать – то ваше дело... А мы бы, красные девицы, хошь подозрили на добра молодца.

– Поди ты, хохотушка! А еще невеста. Не грех такое болтать?

– На языке греха нетути. Жених-то мой вдовый. Не молодой и не скорый. Ни на што не гожий! Дьяк из приказа разбойного... Вот кто он. Только што с матушкой, с батюшкой не рука воевать... О-ох... А, другое дело: вон сестра у меня, Оринка, налегке опшо. Шестнадцать лет, а жениха не видно.

– Брось... О себе думай! – досадливо отозвалась сестра хохотушки, тоже миловидная русоволосая девушка.

– Ты што ж молчишь? Слова не скажешь, – обратилась Адашева к одной из подруг, погруженной в глубокую задумчивость.

Как раз в эту минуту и царь из своей засады обратил на нее внимание. Смугловато-бледное, с матовой, нежной кожей лицо девушки не поражало на первый взгляд своей красотой. Только глаза, миндалевидные, большие, темные, но не сверкающие, а словно бархатные, излучали какой-то особенный свет. Если раз взглянуть в них, так невольно тянуло глядеть еще и еще, как в бездну опасную, под ногами раскрытую. Но не опасностью грозили глаза, нет. Скорбное что-то чудилось в них, словно это были глаза прозорливого ангела, видящего скорбь людскую и вечно тоскующего за этих людей... Так, по крайней мере, показалось Ивану.

В тонких пальчиках белой, нервной руки девушка держала наконечник своей пышной светло-русой косы и в раздумье покачивала им. Пряди пышных волнистых кудрей, выбиваясь из-под повязки, составляли красивый контраст с темными глазами девушки.

– Нюша, ай оглохла! – громко позвала Адашева.

– Нет, милая Настюша... О чем ты? Я слышу! – глубоким, грудным голосом отозвалась Анна Романовна Захарьина, роду Кошкиных, подруга хозяйки еще из Новгорода, где жил ее отец на воеводстве.

– О чем? О женихах толкуем, слышишь... тебе не охота ли?

Анна потупилась только и слабо отмахнулась рукою.

– Ей простого не надо. Ей – королевича! – пошутила Арина Туренина.

– Куды! Гни выше. Сама ведь – государыня-царевна... Ей из земель неведомых самово царя самоглавного подавай... Меньше не берет...

– Царевна? Што это значит? – не то звуком, не то движением спросил Иван у Адашева.

Тот зашептал:

– Пожди... Постоим послушаем уж, коли стоим... Я все скажу. Потерпи, осударь...

– Кто она? – зашептал Иван, очевидно, на этот раз соглашаясь послушаться своего спальника.

– Анна... – начал было Адашев...

Но тут произошло нечто совсем неожиданное.

Две девочки, резвясь по лужайке, прятались друг от дружки за кустами. И в эту самую минуту одна из них влетела туда, где стояли оба соглядатая. Мгновенно с пронзительным визгом кинулась перепуганная шалунья к беседке, восклицая:

– Парни... Разбойники там... Ай! Парни за кустами!

Все вскочили, всполошились. Поднялась и старуха, протирая глаза и ничего не разбирая спросонок.

Анна Захарьина, стоя на пороге, прижала к себе перепуганных девочек и старалась успокоить их. Адашева, догадываясь, в чем дело, пошла навстречу гостю и мужу, который приближался, громко возглашая:

– Простите, гости дорогие, что всполошил ненароком. Я сам, хозяин дому, пошел прямо садом по следам гостей желанных. Да еще гостя веду... Уж не взыщите: приезжий человек. Не томашитесь. Не осудит!

Все женское гнездо, так и заметавшееся при визге девчонки, снова стало успокаиваться, замужние задернули лица фатой. Девушки в кучу сбились, стояли, рдели, рукавами прикрывались. После обмена поклонами сели все. Анна Захарьина, растерявшаяся меньше всех, держалась спокойнее и проще других. И даже решилась не украдкой, как подруги, а прямо взглянуть на незнакомца, так неожиданно попавшего в их среду. Глаза их встретились, и девушка почему-то невольно вздрогнула. Вздрогнул против воли и царь.

Адашев между тем обратился к жене:

– Вот, жена, примай гостя дорогого, приятеля моего давнего. Князь Иван, сын Васильевич, роду князей Белоозерских, осчастливил домишко наш, честь оказал, припожаловал... Угощай, женка. Што получше есть – все выкладывай. Сама обноси, о чарке проси!..

В пояс поклонившись гостю, потом мужу, Адашева отвечала:

– Твоя раба. Гость желанный – велика радость в дому!.. Ничего не пожалею, не осудил бы только нашего убожества да за проволочку не гневался бы. Не ждали такой Божьей милости... Все сейчас в дому изготовить велю.

– Зачем в дому, хозяин ласковый? – вмешался Иван. – Здесь бы куда как хорошо. Ежели вам, хозяевам, не в отягощенье.

– За радость сочтем угодить гостю, – в один голос слились и муж и жена.

И быстро скрылась хозяйка, чтобы сделать все распоряжения.

– А еще у меня просьбишка будет, уж не обессудь, хозяин! – не вытерпев, после небольшого молчания заговорил Иван. – Не посетуйте, осударыни. И вы, девицы-красавицы. Подходили мы с хозяином неторопко, на вас залюбовались издали и слова речи последние слышали краешком уха этак... За што-прошто тебя, красавица... как звать-величать – не ведаю, уж не взыщи.

– Анной, по отцу – Романовой, роду Кошкиных, Захарьиных, – подымаясь с места, ответила девушка. И снова села.

– Вот, вот оно што?! Славного роду. Почетного... Много про всех слышал, и того и другого случалось. А про Захарьиных род одна добрая слава идет в народ! По роду и девице честь. Оттого, поди, и царевной-королевной позывали тебя подруженьки. Оттого ты и...

– Нет, вовсе не оттого! – бойко заговорила Ольга Туренина. – Прорицанье было Анночке. Оттого вот...

– Прорицанье? А знать не можно ль какое? Кто произрек? Когда? Челом бью: нам не скажешь ли, Анна Романовна? Лиха не будет оттого!

– Скажи, боярышня! Приятель мой – добрый человек, не зазорный, – поддержал просьбу гостя хозяин.

– Што ж, сказать можно... Тут ни греха, ни тайности нет никакой, – спокойно и скромно заговорила Анна. – Только, вестимо, я по-своему разумею. А подружки по-своему. Мне старец блаженный про Небесное Царство прорицал, про жениха – Царя Небесного, Спаса нашего Многомилостивого. А он на земное. Старец провидел, что в келью у меня душа просится...

– В келью? Тебе?.. – пылко начал было Иван, но сдержался, умолк.

Затем снова спросил уже обычным тоном:

– Что же тебе сказано? Кем? Все поведай... А мы разберем...

Анна уже готовилась заговорить. Но старуха-барыня, княгиня Троекурова, пришедшая в гости к Адашевой с дочкой и теперь только очнувшаяся совсем от своей дремоты, вдруг засуетилась, завертелась на месте, зашамкала торопливо своим беззубым ртом, скрипучим, дрожащим голосом:

– Стойте... Подождите... Девушки!.. Ахти мне!.. Да ослепли вы, што ли?.. Царь вить энто... Сам царь-осударь!

Да так и распласталась перед Иваном, которого нередко видала у бабки его и потому узнала теперь.

Все гости вскочили, сбились в одну кучу и застыли, еще более напуганные сейчас, чем раньше вестью о парнях-разбойниках... Кто не знал на Москве, каков с девицами был юный царь...

Наконец опомнились, отвесили поклон земной, застыли на местах. И новым, странным взором глядели все эти юные создания на красавца царя, на гостя неожиданного, кидая взгляды украдкой из-под опущенных долу ресниц...

Смутилась и Анна. Но не так, как другие. Какой-то ужас священный, предчувствие чего-то большого, неотразимого холодом сдавило ей грудь, змеей поползло по плечам. И странно, но Иван тоже вдруг почувствовал, что его сейчас нечто важное ждет.

– Што же? Видно, рожна в калите не укроешь! – с улыбкой начал Иван, желая сломить лед, вдруг оковавший все кругом. – Хоша и царь я, а все же человек. Не бука из бучила. Бояться

меня нечего... Вижу я, Анюта, ты мене́й подружек твоих от меня отпятилась. Так и я на своем постою. Сделай милость: поведай про твое прорицание. Охоч я до всяких делов таких.

– Изволь, осударь! – звенящим, рвущимся, не своим голосом заговорила Анна, стараясь концом языка увлажнить внезапно пересохшие от волнения губы. – Поведаю, как все было оно... Вдовая моя матушка... четвертый год честно вдовеет.

– Ведаю, ведаю. Любил и знал я отца твоего. Не помри он – и мы бы, поди, ранней повстречались с тобою. Далее...

– Добра к странным, к блаженным, к сирым людям моя матушка. Хоша и не велики достатки у нас. На Москве уж мы жили, после воеводства батюшкиного. Из Новгорода переехавши. И прибыл в град твой стольный, осударь, преподобный старец Геннадий.

– Из пустыни Любимоградской? Костромской он? Знаю, знаю.

– Тот самый, осударь. С двумя учениками пожаловал. Наш убогой двор посетил. Матушка с братьями с обоими насустречь выбежала. Благословил их старец... А там матушка и бает: «Дочка-сиротинка у меня, не благословишь ли?» Соизволил... Слышу: сам ко мне в светелку подымается. Вериги, слышу, побрякивают. Посох по ступеням цокает. Вошел. Уж не помню, как я в ноги ему кинулась... Руки целую. Молитвы прошу. Чтобы и за меня, и за всех молился, кому тяжело. А он и цыкает: «Тебе-то што же, девонька? Какое горе? Родителя потеряла – так у тебя Иной Родитель жив на веки вечные: Отец наш Небесный... Он и отца твоего земного успокоил по мнозих трудах. Так ты не печалуйся. Покой несет могилушка. Мать сыра земля слаще жены, милей детушек. Сила в ей, ласка в ей. Могила в ей. И ты, и все мы там уляжемся. Так не тоскуй...» – говорит.

Что дальше, то больше оживлялась Анна, словно опять переживала событие, о котором рассказывать ей пришлось.

Иван так и не сводил с нее глаз, ничего не замечая вокруг.

– А я ему на ответ, – передохнув немного, продолжала девушка теперь уже громко, почти спокойно, – я и говорю: «Не мертвых, живых жалко. По них болезную. Жизнь не больно красна земная. В монастырь, чаю, лучше: горя, обиды, слез менее...» – «Нет, – говорит старец, – и тамо всякого жита по лопате нагребешь. И в миру спастися можно, ежели душа у тебя спасенная. А у тебя она, и-и! – совсем она спасенная. Слушай же, дочь моя, слово мое. Не я глаголю, Дух Божий глаголет во мне! Благого корени благая отрасль и лоза плодовая! Возлагаю руки мои на главу твою, призываю на тя Божие благоволение. И будещи ты по времени всем нам оспожа. Яко царица благоверная над миром надо всем!»

Произнося последние слова, Анна выпрямилась во весь рост, словно взаправду нездешняя сила какая-то заговорила в ней³.

Полная тишина воцарилась в беседке и кругом. У входа виднелась толпа челяди. С подносами, уставленными снедью разной, с ендавами, кувшинами и сулеями стояли все. Хозяйка, одетая в свой лучший убор, виднелась впереди, тоже с чаркой и стопкой на подносе. Но и она с другими замерла, ожидая конца чудесного рассказа боярышни.

– Аминь! – громко вдруг вырвалось у Ивана. – Спасибо тебе, Анна Романовна, за повесть твою дивную, за благость, нам открытую. Но гляди: хозяйка стоит-ждется. Никак поить меня хотят. Так уж пусть сама ранней откушает, целовать себя велит. А уж тогда. Подозволь, хозяин ласковый?

– Мне ли позволить? Рабы мы, осударь, твои самые низкие. Осчастливь! Святым обычаем хозяйку мою целуй, чару пригубь. Освети хижину рабскую.

Медленно взошла Адашева на низенькую, широкую скамью, которую принес и держал наготове челядинец.

³ См. «Житие Геннадия, Костромского и Любимоградского Чудотворца».

Иван подошел, поклонился ей, касаясь самого помоста, цветным сукном перекрытого. Хозяйка ответила гостю-царю поясным поклоном, отпила из чарки, которую держала на подносе, и с новым поклоном подала ее царю. Тот ступил на помост, трижды, со щеки на щеку, облобызался с Адашевой, выпил чарку, снял с руки перстень с рубином и опустил в кубок. Третий поклон хозяйки – и она сошла с помоста. Муж после царя не стал уж целовать ее, как бы оно в ином случае следовало.

– Што же, может, и другие гости дорогие твои царя угостить желают? По ряду уж следует... Штобы обиды никому не было. Не то, гляди, Анна, мирская печальница, осудит, скажет: горденя-де царь...

Вспыхнула девушка, молчит. От смущения бархатные глаза даже слезами заволокло. А они от этого еще лучше стали.

Взобралась на помост старуха Троекурова. Все опять повторилось... Так и пошло: замужние сперва, девушки потом – все Ивана угощали. Всех одарил он. И так вышло, что Анна последней встала на помост. Бледнее смерти стоит. Глаза как звезды светятся. Так и колышет от волнения бедную.

Уж Оля Туренина сзади совсем близко подобралась, чтобы поддержать подружку, если сомлеет та. А этого ожидать можно.

Медленно подошел Иван, не спуская глаз с девушки, сиявшей неземной красотой в этот миг. Медленно склонился высоким станом и дважды приник губами к щекам Анны. А в третьем не стерпел: быстро, словно ужалил, прямо в розовые губки так и поцеловал. Охнула слабо девушка, покачнулась, но устояла. Только не сама уж сошла с помоста – подружки сойти помогли.

– Нездоровится, видно, девушке. Прости, осударь! – решилась заговорить Адашева. – Можно ли увести подружку?

– Пусть пойдет. Пусть отдохнет-поправляется. А матушке мое здорованье передай, гляди не забудь, Анна Романовна. Я еще, и сама ведаешь, поди, перед батюшкой твоим, пред Никитушкой, в долгах. Кабы не он, не догадка его – не уйти бы мне под Коломной от пищальников оголтелых, от мятежных новгородцев, когда они на жизнь мою умыслили. Сам ин заеду, матушке вашей за сыновей челом ударю, за верных мне слуг и пособников. Иди с Богом, боярышня!

И снова отдал поклон юный царь уходящей, сразу очаровавшей его девушке. Так закончилась первая встреча между Иваном и Анной Захарьиной-Кошкиной, в грядущем названной именем Анастасии, когда ее нарекли царицей Московской и всея Руси.

VII

Воротясь во дворец после этой встречи, Иван долгое время ходил радостен, светел и тих, словно переродился совсем. Даже не слышно было несколько дней гнева царского, не говоря уж о тех обычных бесшабашных пирах, без которых дня не проходило прежде.

– Что стало с царенькой? Осовел наш парень вовсе! – недовольно толковали прежние застольники Ивана, лизоблюды, «маньяки» дворцовые.

– Остепенился малый! – степенно поглаживая бороды, замечали старшие бояре: Милославский Федор, Бельский Иван и Глинские оба – Михайло и Юрий.

Очень скоро дело яснее обозначилось.

Летние жаркие дни царь с ближними боярами думными в своих подмосковных дворцах проводил, в Коломенском да Воробьевском, но часто теперь и в Московском Кремле засиживался, вопреки обычаям. Стали замечать все... И допытались.

Еще раза два, случайно или нет – кто знает, но повстречался Иван с Анной Захарьиной у Адашева.

А там, недельки через две, как снег на голову, нагрянул сам царь, также попросту, и на двор ко вдове честной, боярыне Иулиании Захарьиной-Кошкиной. Жила боярыня недалеко от тех же Никольских ворот, где раскинулся посадистый двор старика Федора Адашева. Мост большой, каменный, перекинутый здесь же по правее через Неглинку-речку, широкий, установленный крытыми лавками и помещениями по бокам, соединял Китай-город с Занеглименем. А чрез ближайшие Никольские ворота подмосковные посады соединялись с Кремлем.

Ради сыновей Никиты да Алексея, которые вместе с царем ездили и с ним же часто в Москву возвращались, жила боярыня в городском доме, не отъезжала в свою тверскую вотчину. Все-таки успевала чаще сыновей видеть. А то бы за все лето и не удосужились они заглянуть к матери.

После первого смущения, вызванного неожиданным приездом царя, все пошло по-хорошему. Иван умел, когда пожелает, очаровать людей.

– Челом бить тебе за сынка, боярыня свет Иулания Федоровна, припожаловал. Не гони прочь гостя незваного! – объявил Иван, почтительно кланяясь хозяйке дома.

Та прямо в ноги царю кинулась.

– Батюшка ты мой! Светик ясный! Царь-осударь милостивый... Да стоим ли мы и словечушка твоего бранного, не то чести-почести такой? Да я то место святить велю, где ты с коня слезть поизволил. Тафтой шелковой покрою... Да я...

– Да ты подозволь из покоев – на вольный воздух. Душно теперя в теремах, хошь и просторны покои у тебя. Веди в зелен сад. Похвалялся мне Никита: густой он у вас, уветливый. Моих Воробьевских садов не похуже. Да дочку покажи... Видал я ее в чужих людях. Дома поглядеть твою умницу-разумницу больно манится.

Таким образом Иван и завоевал окончательно старуху и ясно показал, зачем пожаловал: в дому у нее девушку на воле поглядеть, не в чужих людях.

Переглянулась мать с сыном, стоящим за плечом у царя, и выкатилась делать свои распоряжения.

На счастье, Анна не одна сидела в светлице. День выпал праздничный, и несколько подруг пришли навестить боярышню.

После обычного угощения девушки песни стали запевать, величали державного гостя. Он шутить принялся, дарил им деньги.

Игры скоро затеялись... горелки.

Иван, сбросив с себя обычную угрюмость и надменность, в первую пару стал. Никита с Ольгой Турениной стоят за царем. Иван Андреевич Челяднин, молочный брат Ивана, в следующей паре. Адашев, третий спутник Ивана, сзади поместился, по приказу царя.

– Женат я, осударь. Некуды уж мне бы погарывать, побегивать, в игры поигрывать... – застенчиво улыбаясь, заметил было Алексей.

– А я велю. Вот и вся недолга! Ну, мышонок! Гори побойчей! – крикнул царь бойкой Оле Турениной, которой выпал жребий «пнем гореть», и стал что-то шептать своей соседке Анне Захарьиной.

Сначала боярышня была напугана появлением у них красавца-царя, такого милого, такого ласкового. Но за две-три встречи с Иваном у Адашевых она пригляделась к повелителю, увидела, что он такой же ласковый, веселый юноша, как те из молодых ее родственников, с которыми приходилось все-таки встречаться девушке, несмотря на полузатворническую жизнь, обычную для женщин зажиточного круга.

Теперь, у себя дома, Анна совсем развернулась. Откуда смелость взялась. Явно радуется ее внимание царя. Гордо порою головкой девушка встряхивает. А сама весела, смеется, бегают с прибаутками. От Ивана увернуться норовит, в руки Оле попасть, кричит Ивану:

– Поскучал бы и ты малость, осударь! Погорел бы в одиночку!

– Ну нет, шалишь, попал на пару – не пуцу! Одному и то быть надоело!.. – отвечает ей Иван, нагоняя и хватая за руку. Ведет на место, а сам так и впился глазами в лицо красавице.

И Анна подняла на него свои темные бархатистые глаза. Прекрасные они, такие детски-чистые. Глядят так доверчиво, так прямо... Невольно замечает Иван, что чувственное волнение, вызванное было по привычке близостью такой очаровательной девушки, понемногу улеглось. Совсем потонуло оно среди тысячи новых, непривычных ему, тонких ощущений. Тут как-то все смешалось: жалость к сироте, восторг от близости чистого существа, готового открыто поклониться ему, царю Ивану. И чуется юноше прилив неудержимого, детского веселья, какого никогда почти и не знал, даже малюткой, печально возраставший Иван. Этим беззаботным весельем заразился царь сейчас от Анны. И то вспомнил Иван: незнатный, но славный род бояр Захарьиных за многие годы ни в единой крамоле боярской не был замешан. Поэтому Иван, обыкновенно не дававший спуску боярским и княжеским дочерям и молодкам, теперь совсем иначе отнесся к Анне. Свое уважение к роду царь перенес и на молодую девушку-сиротку.

Анна почуяла это – и так хорошо ей стало!

Незаметно время летит. Песни сменяются играми. На качелях качались, даже хоровод завели, хотя Семик уже минул давно.

«Роща зелененька, а я молоденька!» – заливается Анна.

Вдруг гулкий удар пронесся в летнем теплом, дрожащем воздухе. Зазвонили к вечерне. Сразу затихли все, перекрестились, оборвав смех и говор и песню на полузвук. Расходиться настало время.

Но это посещение было не последним...

Скоро толки пошли по Москве, в Кремле особенно:

– Зачастил штой-то царь ко вдове честной, к Ульяше Кошкиной-Захарьиных. Неспроста оно...

Иные задумались. У иных прояснились лица.

VIII

В день своего ангела, 22 июня, до свету поднялась боярыня Иулиания. Все во дворе и в доме тоже почти не спали ночь напролет: к именинному пиршеству готовились. День поздно погас. Рассвет куды рано загорелся над землей. Если часика три поспали – то и ладно. А уж в шестом часу честную вдову сам Макарий-митрополит принимал, когда она к нему со своим именинным пирогом заявила. Да мало что принял раньше всех, стоящих в большом переднем покое, – увел, в «казенку» свою позвал и там не короткое время с боярыней беседовал. За пирог иконой одарил, святительским благословением... И к бабке царевой доступ нашла незнатная боярыня. Та благодарила куском тафты именинницу за челобитье. Царь молодой в Коломенском случился в тот день. Не то, гляди, сам бы на пир ко вдове пожаловал. Но и так полон двор и дом у нее. Одни уходят, другие подъезжают и пешком подваливают. Много знакомых было у мужа-покойника, не только что из боярского круга, а из служилого и приказного. Теперь проведали люди про особую ласку, какую семье царь Иван выказывает. И особенно много званых и незваных гостей явилось в день ангела «здороваться, честь отдать ангельской душе, имениннице»...

Приехал попозднее и думный боярин, Михаил Юрьевич Захарьин. Он, после смерти Романа, главой в роду считается. С ним сын явился его, Данила, и второй брат хозяйки, Григорий... Никита Захарьин, у царя не дежуривший как раз эти два дня, тоже дома сидит, на радость матери.

Не только за весельем съехались родственники. Опустели дворы и палаты, когда к вечерним дело подошло. Не решались гости и гости засиживаться у вдовы, хоть и «матерая» она, в своей семье – голова. Все-таки не водится во вдовьем доме долго засиживаться...

За вечернюю трапезу только своей семьей уселись. Анна, уставшая за день, не сошла к столу.

– Оно и ладно! – заметил Григорий Юрьевич. – Речь такая пойдет, што девчонке лучше не слушать.

– Какая речь такая? – всполошилась Ульяна. – Што, право, за беспокойный норов у тебя, братец Григорий Юрьич! Денька по-милому, по-хорошему, любо не поживешь.

– Рад бы милить, да суседи насилят! Так ухо надо остро держать. Да ошшо ежели сестра с дурцой. Тут вдвое забот...

– И за што обида такая извечная? – плаксиво отозвалась хозяйка. – Што вдовица я сирая... Так хушь бы вы, брательник старшой, вступились. Батюшка Михаил Юрьич, как ты у нас заместо отца родного таперя. А то мне, бедной, вдове горемышной, в моем же доме...

– Ну, буде! Запричитала! – решительно, но не строго произнес старший из братьев, боярин Михаил Захарьин. – Дело надо толковать, а ты запричитала. Никто тебя, сестра, не обидит. А Гриша – он уж завсегда так: лотошливый да суматошливый. Ранней пожару в било колотит. Хоша и то сказать: дымком-гарью попахивает.

– Пожар? Загорелось? Ахти мне! – вскочив, пугливо озираясь, запричитала хозяйка, но, видя, что оба брата так и покатались со смеху, а молодежь едва сдерживается, чтобы тоже не смеяться, опять перешла в тягучий, плаксивый тон: – Ну вот... ну вот... И повсегды так вот... Потеху творит себе из меня, бедной, вдовицы сирой.

– Ах Ты, Господи! Да кинь причитанья. Слышь, што баять будем.

– Слышу, молчу, – сложив полные ярко-красные губы сердечком, подпершись рукой, сугубо-смирненно отозвалась боярыня, но тут же не выдержала: – А тебе бы, племянничек, – накинулась она на Данилу Михалыча Захарьина, – тебе бы и вовсе не пристало хиханьки да хаханьки над теткой творить. Отцу бы еще сказал учливенько, как ты царский ближний слуга, мол, «батюшка»...

– Матушка, смолкни! Останови колесо язычное. Всего воздуху не смелешь. Не то, гляди, уйдем в ину хоромину каку. Без тебя толковать станем, мать честная вдова-разговорница! – пригрозил Михайло.

– Молчу! Молчу! – зажав рот рукой, прошептала хозяйка и смолкла на самом деле, но приняла еще более обиженный вид, чем раньше.

– Теперь сыпь, – обратился Михайло к Григорию, – что нам сказывать собрался? Каки таки росказни про нас идут? Что судачат?

– А то и бают, что царь молодой у сестры у нашей любезной, в доме ея вдовьем почестном, опочивальню себе завел. Да ошшо не где инако как в терему девичьем, во светлице у племяннушки нашей, Анюты.

– Ах, вороги, ах, злодеи, ах, душегубы подлые! – так и взвизгнула, не вытерпев, боярыня. – Знаю я, чьи энто вымыслы! Ведьма Наташка Поленина, суседка-дьяконица, склыки пустила. Да я ее...

– Помолчи, сестра! – уже более решительно прикрикнул Михайло. – Да Полениной за такие речи можно бы язык к пяткам вытянуть.

– Я суседок твоих не знаю! – раздражительно отозвался Григорий, и без того вечно злой, подозрительный и раздраженный по натуре человек. Теребя свою длинную жидкую черную бороду, он продолжал: – Круг царя такие речи ведутся. Бояре главные о том же проведали. Нешто единый шаг царев без погляду останется? А теперь – и пуще всего. Скоро пора приспеет: оженить царя надобно. Уж все первые роды между собою сносятся, пересылаются, стовариваются. Судят-рядят: на ком осударя женить? Так со всех концов по сотне гонцов готово:

не скользнул бы куды выюнош, мимо ихних мережей не проплыл бы. Пока он с дворовыми али припосадскими женками хороводится – оно и ладно. Ежели с иной боярыней замужней али княгиней какой позадержится, и то не беда. А тут, слышь: боярышня запуталась. Все ныне и заворушилось, как осы в улье в своем. Узнать всем надо: што да как? Невесту ль готовит себе осударь али так, приспособил сударку повседневную? По видимости – на последнем все сгодились.

– Ахти мне! – в неподдельном отчаянии хватаясь за кикю, завопила было боярыня, но тут же и замолкла, увидя поднятый с угрозой палец братца Михайлы.

– Што ж, все энто и мне добре ведомо! – после небольшого молчания заговорил он. – Оно, гляди, и лучше, что такой, не иной говор идет. Для племянной целее, да и для тебя, сестрица. Стали бы главные бояре супротив вас опаску держать – давно бы и ее и тебя смели с пути с дороги. Извели бы зельем лихим как-никак. Не то хоромы подождгли бы, живьем поджарили.

– О-ох! – только и простонала, задрожав, боярыня.

– Теперь одно знать бы нам доподлинно надо: правду злые люди болтают али наговаривают на племянную? Ась? Поведай, сестрица любезная. Да, гляди, без хныканья, без вытья, без речей пустых, залишних.

– Ох, скажу. Все выложу, братец Михайло Юрьич! Ничего не потаю. Стыд головушке! Каки речи облыжные про девицу пошли! Да нешто я не мать? Да рази вместимо? Да позволю я, штолича? Да я ее лучше этими руками.

– Ну, вижу: толку не быть от сказов твоих. Так я спрашивать буду, а ты покорооче отвечай. Что суть спрошено. Ночевывал когда осударь на дворе на твоём?

– Батюшки! Да нешто можно?! Да как же?!

– Ладно. Не было, значит, тово. В другое: часто ли счастливил-заглядывал?

– Да, батюшка... Сказать, так и не считала, а припомнить можно.

– Я, дяденька Михайло Юрьич, знаю! – вмешался Никита. – Без меня, почитай, ни разу не заглядывал. А со мной – раз пять бывал.

– Выходит: раз на неделе. Ошшо не больно часто-много, – ухмыляясь в бороду, заметил боярин. – А один на один с боярышней бывал ли гость дорогой?

– И-и, да нешто? – начала было боярыня, но сын снова перебил ее:

– Штобы совсем наедине, без призору, хошь бы дальнего, незаметного, – того не случилось. Не матушка, так я, не я – иной хто энтак неприметно, а все поглядывали. Но сидеть вдвоем – они сиживали. И в покоях случалось, и в саду, под наметом, али в купине хмелевой. Речей не подслушано всех. А што слышали, то все по чину велось. Ни озорных, ни улестливых слов осударь сестре не сказывал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.